

Yann

MOIX

ORLÉANS

Лесли посвящается

То, что содеяно против ребенка, — содеяно против Бога.

*Виктор Гюго. Человек, который смеется**

* Пер. Б. Лившица. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика.)

I

Внутри

Подготовительная группа. Мир покрывался ржавчиной. За окном стояла осень. Воздух желтел. Снаружи творилось неизбежное: все умирало. Школьный двор, тонущий в болоте сумерек, приобрел причудливые очертания. Я перестал узнавать вселенную. Сидя в классе, освещенном мигающими неоновыми лампами, я чувствовал во рту, точнее говоря, в области нёба, горький вкус, отдающий миндалем и защищенностью. Ничто — ни рисунки, ни тряпки в пестрых пятнах, ни тюбики, ни банки с водой, ни кисти, ни мокрые губки, ни прикрепленные к черной доске магнитом крупные буквы, ни трафареты из крафт-бумаги — не вызывало тревоги. Противоположность войне — не любовь, а оранжевый ранний ноябрьский вечер в помещении подготовительной группы детского сада. Ни убитых, ни раненых — бояться нечего. Тепло и яркие краски. Потрескавшаяся штукатурка здания отлично спасала нас от навалившейся снаружи черно-красной тьмы.

Достаточно было бы разбить окно, и в наш идеально уютный кокон ураганом ворвались бы ошметки несчастий взрослого мира, колючий ветер, слезы, соболезнования и страдания. Учительница — с синевато-бледным лицом — носила пучок. Мне нравилось, как она вытирает доску, оставляя за лихорадочно движущейся тряпкой призрак предыдущей надписи — своего рода палимпсест, — желающий продолжить существование, как любовные раны, которые исцеляет только смерть.

В классной комнате носились запахи гуаши, гектографа и кофейных зерен, из которых мы мастерили фрески (бесформенная корова перед необитаемым домом), — запахи рая и смерти, след всех тех, кто был ребенком до нас, а теперь лежит с глазами, засыпанными песком. У нас были двойные парты с откидывающейся крышкой. В их пасти иногда покрывался плесенью пенал или медленно погибал рисунок фломастером, то трогательный, то грубый, по всей вероятности исправленный и испорченный взрослой рукой. В первый же день я нашел в глубине своей парты загадочную фигурку, о которой тогда не знал ничего, лишенный доступа к ее истории и не понимавший смысла ее существования; ее перемещение больше не подчинялось никакой стратегии и тактике, никакому расчету; это был шахматный слон. Он покоился

там, в темноте и тоске нелепого детского столика, скромный служака, сосланный в кладовку, потерявший противников и словно навсегда сраженный. Никто не знал, в каких блестящих партиях он участвовал, какие страшные сражения пережил на математически строго расчерченных клетках своей диагональной судьбы. Он так и остался неизвестным солдатом моего детства: немой, погруженный в неведомое мне горе, бежевый, деревянный, запачканный синими чернилами на уровне шлема, возле перемычки, отделявшей его голову от тела.

Я предпочел оставить его на месте и не совать в карман жилета. Мне хотелось, чтобы он продолжал проводить ночи в своем тайнике — или в своей могиле; если честно, я так никогда и не узнал, жив он был или мертв. Слон представлялся мне скромным глашатаем окончательной капитуляции, символом заброшенности. Он воплощал собой проигрыш. Но главным образом он служил предвестием будущих похорон, венчания поражения со смертью. Каждое утро, вымыв руки под общим умывальником и натянув голубой халат, я проверял, здесь ли он, у меня под локтем, и убеждался, что за ночь он никуда не девался. Его былая слава околдовывала меня.

Над школой сгущался провинциальный вечер — неизбежный, наполненный враждебными

мерцаниями, запахами камфары и светящимися, словно бы задыхающимся пятнами. После звонка, перед выходом, мы одевались во влажную шерсть. Все мы ходили в резиновых сапогах, даже когда не было дождя. Задрвав на металлическом холоде нос, мы замечали, как в небе появляются неподвижные светлячки. Звезды походили на мелкие брызги колотого льда. Далекий Млечный Путь медленно вбирал в себя городские шумы. Если долго смотреть на небо, можно было, кроме богов, увидеть кареты, попугаев, лошадиную голову. Ночное небо, вознесенное над происходящим, будило во мне ненасытную жажду перемен. Я вставал на колени и мечтал перестать быть тем безликим ребенком, каким я был, и превратиться в пони или в планету.

Я сильно отличался от других — как и все люди на свете. По пути домой — я шагал один, потому что мать, как всегда, за мной не пришла, — я познакомился со статуей Девы Марии, покрытой мушиным пометом плесени, но сохранившей блеск своей улыбки. В своем бархатном мраморном наряде, источенном временем, она без сопротивления и без колебаний принимала натиск ежевики, грозившей утопить ее в своих зарослях. Ее рафинированный анахронизм, ее поблекшее милосердие стучались мне в сердце. Вещая тишина

пустынного закоулка постепенно поглощала статую. Я в нее влюбился.

Иногда я ее гладил — проводил рукой по холодному лицу. Она выбивалась из невыносимой реальности улиц, бульваров, дорожного движения, нечистот и помоек. Вся эта история разворачивалась в двадцатом веке; прошлое бесполезно; нам известно только настоящее, без конца обновляемое мгновением. Если я сейчас умру, то у меня украдут не прошлое, а ту секунду, которую я переживаю. Эта секунда — все, что у меня есть. Это и есть мое существование — миг настоящего, не связанный ни с чем, оторванный от любых корней, глухой и безразличный ко всему, что было вчера. Я — не более чем краткая вспышка неизбежности.

Я возвращался домой, покрытый мраком ночи. Путь был опасным, и по дороге я плакал. Мать заканчивала уборку — наводила чистоту в прачечной, заполняла посудомоечную машину. Отец — я имел обыкновение регулярно интересоваться у его жены, когда он наконец умрет, — был еще на работе. Его кабинет располагался в нескольких метрах от нашего дома. Мать принимала мои слезы за свидетельство трусости; она смотрела на меня с ненавистью и презрением, бесстрашная, с распущенными

волосами. Ее жестокость казалась неизбывной. Иногда я предпринимал рискованную попытку получить хотя бы толику тепла от тела, когда-то служившего мне убежищем, но она неизменно останавливала мой порыв, а потом отталкивала меня, как собаку. Мое появление на свет означало для нее тревоги и отчаяние. Она постоянно боролась с желанием утопить меня в мыльной воде ванночки или придушить подушкой в детской кроватке. Как она позже призналась ныне покойному дяде, втайне она мечтала, что по дороге из школы со мной произойдет какой-нибудь несчастный случай — из тех, что уносят ненужные жизни.

В тот вечер я по неосторожности уронил на плитку кухонного пола стаканчик с натуральным йогуртом. Наказание последовало немедленно, неизбежное, как научный вывод. Меня за волосы сдернули со стула и выволокли на улицу, во внутренний двор общего дома, в котором мы занимали квартиру; там до сих пор растет падуб. Мои рыдания нисколько ее не разжалобили; она всегда жалела только других, но не меня. Я видел на ее лице отблеск счастья. Издевательство над пятилетним сыном возвращало к жизни ее омертвевшие черты. Свитер она с меня сняла и оставила ждать отца, гнев которого должен был

обрушиться на меня с минуты на минуту, пылая в ноябрьском холоде. Давно знакомый с болью унижения, я не пролил ни слезинки, но смутно чувствовал, что память об этой женщине осядет у меня в душе грязным пятном.

Я ждал, сжавшись в комок и оцепенев под ледяным ветром, ветром, который подхватывает детей, чтобы зашвырнуть их в самую гущу волчьей стаи, и знал, что скоро отец меня согреет — по-своему. Я услышал, как тихонько скользнула в сторону застекленная дверь, ведущая на террасу. Я сидел на ней один, час был уже поздний. Рука отца, твердая, как маленькое солнце, врезалась мне в лицо. В голове вспыхнул яркий свет. Меня охватило удивительное чувство прохлады, тут же сменившееся ощущением жара. Отец схватил меня за волосы и, осыпая злобной руганью, втоптал в дом и бросил на кровать. Я и сейчас как наяву вижу пену, капающую у него с губ, и его воздетый в обезьяньем жесте кулак. Один в темноте своей комнаты я воображал, как двое существ, которые меня кормили и водили в детский сад, плавают в луже фиолетовой крови. Потом я переключился на мысли о парусниках.

Просыпаясь среди ночи от страха, вечно обитавшего в наших стенах, я будил одного

из родителей и получал очередную порцию зуботычин, после чего все снова засыпали.

Случалось, что по утрам я прихрамывал или харкал кровью. Тогда меня вели к врачу, который жил в нашем доме. Беседы с ним велись в шутили-вом тоне. Я слишком часто дерусь в детском саду. Кровоподтеки и вывихи — следствие ударов, полученных от старших мальчиков, но виноват в этом я сам — нечего задираться. «Ну и озорник!» — восклицал доктор и рассказывал какую-нибудь историю, не имевшую ко мне никакого отношения. Такова была моя жизнь; я не сомневался, что такой и должна быть жизнь.

Чтобы успокоиться, я представлял себе свое маленькое тельце закопанным в землю, вдали от дыхания человеческих существ. Но не успевали засыпать меня песком, как являлись мать с отцом, яростно выволакивали меня наружу и лупили, лупили, лупили... Мать обожала меня обзывать; она осыпала меня такой похабной бранью, какую взрослые обычно приберегают друг для друга. Предполагалось, что наиболее часто употреблявшееся слово «педрила» должно ранить меня особенно больно. Даже когда мать наконец оставляла меня в группе с моими товарищами и воспитательницей, она продолжала сороконожкой

шебуршиться у меня в голове. Прилепившийся ко мне запах ее духов вызывал у меня отчетливый рвотный рефлекс.

— Да что с тобой опять такое? — с упреком спрашивала синеватая воспитательница. — Ты дрожишь как осиновый лист.

Это «ты» казалось мне оскорбительным; оно лишало меня индивидуальности. Я стоял весь взмокший, что-то бормотал, а потом улыбался. Она пожимала плечами.

— Вечно ему надо обратить на себя внимание, — бросала она в сторону, используя публику как нож, который спешила в меня вонзить. Я брал кисточку и рисовал домики с каминными трубами. Я знал, что на горизонте, там, где кончается океан, людей ждет смерть; я догадывался, вернее сказать, надеялся, что мой отец рухнет перед ней на колени и, сотрясаясь от рыданий, будет умолять о снисхождении.

Что касается матери, то ее я, как резинку, растягивал изо всех сил, пока она не рвалась у меня в пальцах.

Первый класс. Дождь лил не переставая. В окно класса били его косые иглы. Снаружи жирные растения пили в три горла с риском лопнуть. После этого потопа вспотевшая земля издаст долгий и глубокий вздох. Мы учились читать, иначе говоря, начинали думать. На доске появлялись буквы, образуя петли, связки, перемычки. Я осваивал их с усердием. К цифрам я проявлял строптивость; они казались мне унизительно примитивными; я чуял в них подвох. Они не давали никакого прозрения — в отличие от букв, которые, складываясь в слова, открывали целые проходы в нагромождениях ледяных торосов. Их значения кружились передо мной в танце. Я прикасался к их нервам и ощущал их вибрации.

Поначалу я спотыкался на каждом слогe, но вскоре с замиранием сердца понял, что больше ни один не таит для меня загадки; слова зазвучали, и я смог соотнести их с реальностью. Глаголы, имена существительные смирились перед

моей решимостью и до скончания времен покорились мне; они, как опавшие листья, ложились на асфальт, расстилаясь ковром, вобравшим в себя сущность всех вещей. В книге были и картинки, которые меня очаровывали, потому что я впервые осознал, насколько они второстепенны, — так, костыли. Главное было чтение, письмо; в мечтах я уже видел себя кем-то, кому есть что сказать, чтобы показать себя миру, и дрожал, предвкушая синтаксические импровизации. Я играл словами, как человек, впервые подувший в трубу. Вид оценок, неизменно плохих, меня пьянил. Задыхаясь от счастья, я грыз карандаш и перебирал этот еще путаный набор букв, перемещая их, как фишки в игре, на ходу изобретая ее правила.

Во мне зарождалась маниакальная любовь; я пытался заглядывать в учебник на десять уроков вперед, но, увы, натыкался на стену, что было предсказуемо: слишком много слов, составленных из незнакомых слогов, слишком много сложных конструкций. Приходилось ждать, что было нелегко. Вечером я ложился спать в обнимку с книжкой, надеясь, что во сне процесс проникновения в мое сознание всех стихов этой библии мистическим образом ускорится.

Понемногу я учился записывать все, что говорил, и описывать все, что видел. Половину жизни

я проживал, вторую половину сам себе рассказывал. Я плыл среди слов, как по реке, покрывая страницу за страницей идеально выведенными буквами, страдая от каждого несовершенного изгиба, каждого неаккуратного утолщения, каждой небрежной закорючки. Я стирал написанное ластиком и начинал все сначала. Постепенно толпа безымянных вещей редела, я различал их все более четко. Отныне кто угодно мог делать со мной что угодно; я обрел несокрушимую силу — письмо. В нашем учебнике излагалась история белокурого мальчика, дружившего с белкой; он жил в скромном, но опрятном домике, раскрашенном чьей-то простодушной рукой; перед ним расстилась лужайка нежно-пастельного зеленого цвета. Отец, не расстававшийся с трубкой, больше всего любил после предположительно утомительного трудового дня сидеть с газетой перед камином с превосходной тягой. Мать, обожавшая своего сыночка, — на иллюстрации к очередному уроку он появлялся в одних и тех же красных шортах и неизменной матроске, не подверженной износу, — судя по всему, испытывала особую страсть к починке одежды и приготовлению ужина.

Весь этот мирок, втиснутый в безвоздушное пространство картинок, оживал благодаря нагужным, полупридушенным фразам; слова все

время вырывались за рамки рисунка, то опережая описываемое событие, то отставая от него. Я не знаю, что случилось с этой сказочной избушкой, построенной при помощи кровельного железа и цветных карандашей: наверное, она тихо сгнила на чердаке или сгнула в пучине моря.

Я возвращался домой под проливным ледяным дождем. В предместье Сен-Жан я зашел в бакалейную лавку, где обычно — безуспешно — выпрашивал, чтобы мне купили плитку белого шоколада с выдавленным на поверхности силуэтом дельфина. Скорее всего, мне хотелось съесть даже не сам шоколад, а дельфина. Я стащил это бесценное сокровище и сунул под мокрую куртку. Дряхлая бакалейщица ничего не заметила. Я и сегодня как наяву вижу два убогих ряда продуктовых полок, освещенных полосой бледного света. Мать мгновенно разоблачила мое преступление; она вlepила мне пощечину, и одновременно с этим мне явилось слово «пощечина», идеально соответствующее реальности. Своим звуком «щ» оно точно выражало образ щели, через которую проникал сквозняк насилия, осевший у меня на щеке. Узкое лезвие «и» предсказывало остроту боли. Финальное влажное «а» наводило на мысль о руке, возникшей из океана; оно было пенистым и крылатым. Пощечина, как

и ее лексическое воплощение, имела морскую и воздушную природу; от нее веяло просоленной акробатикой.

Мать скрылась в темноте гостиной, где дремали будущие вспышки злости. Она вернулась с табличкой, на которой тошнотворно-черным маркером написала: «Поскольку месье утверждает, что умеет читать» — и потребовала, чтобы я произнес это вслух. Все еще мокрый от дождя, мешавшегося с моими слезами, я машинально начал разбирать маячившие передо мной слова. «Я с тебя шкуру спущу!» — рывкнула мать и полезла на стул, чтобы достать кусок веревки. Я уже не помню, какие санкции она мне сулила, но все они предвещали катастрофу, кораблекрушение, конец света и апокалипсис, которые должны были постичь лично меня.

Я тихонько утер слезы и смело посмотрел на текст, отложив панику на потом. Жизнь вдруг представилась мне старой грязной тряпкой, проваливающейся под ногами землей, варевом из отрубленных языков. «Ну? Долго мне еще ждать?» Миндалевидные глаза матери цвета зеленого чая подернулись пеленой неизбывной ненависти. Ее взгляд, смягчить который будут не в состоянии никакие годы, был смертельным оружием, способным наносить удары по едва затянувшимся

ранам, превращать водоемы в вонючие стоячие болота и метать кинжалы, пронзая сердца. Злоба так и клокотала в ней. «Зачем ты только родился? Зачем? Отвечай, говнюк! Отвечай, кому сказано?» — бушевала она и трясла меня за плечи. Однажды вечером я ушел к себе в комнату и за-тянул у себя на шее шнурок, но меня спасла красота девочки, в которую я влюбился годом раньше и которая переехала с родителями в Париж. Мою печаль исцелил избыток печали; в калейдоскопе зловещих видений мне почудилось ее кукольное личико, отбрасывающее фиолетовые блики, и я уловил обрывок ее смеха; я и сегодня ношу его в кармане и слышу, стоит мне сжать кулак.

Ее звали Натали Ибарра; ее красота станет моей красотой, как и ее радость. Я нашел в ней прибежище. Стоя напротив орущей матери, я словно прятался в призрачный образ Натали, затаившись у нее между легкими, или поблизости от печени, или в одной из ножных икр над спущенным белым носком.

Дождь прекратился; реальность за кухонным окном окрасилась в цвета витража. Мать привязала к табличке веревку, которую в конце концов нашла, и повесила мне на шею. Потом она потребовала, чтобы я положил руки на голову, как заложник или заключенный. Соседи слушали

«Тангейзера» — лишь через много лет я смог назвать по имени музыку, что так точно соответствовала апогею моего страха. Когда исчезнет наш мир, когда Вагнер будет неотличим от тишины, когда не останется ни трагедий, ни потрясений, а история будет похоронена в склепе небытия, галактика, возможно, услышит жалобную песнь когда-то живших детей.

На табличке, висевшей у меня на спине, заглавными буквами было выведено: «Я ВОР». Я шагал, держа руки на голове, к месту своего преступления — бакалейной лавке. Прохожие останавливались в недоумении, но не выказывали никакого возмущения; насколько я помню, они смеялись. «Не желаете забрать его себе? — бросала им мать, пихая меня в спину. — Могу отдать». Я молился про себя, чтобы по пути нам не встретился кто-нибудь из моих одноклассников или призрак Натали Ибарра. Перед лавкой стоял лоток с фруктами, припорошенными уличной пылью, и я замедлил шаг, как лошадь, которая не решается взять барьер. В этот миг я увидел над собой широкую изгибающуюся фигуру — это была рука моего отца на фоне небесной лазури. О происшествии ему рассказал кто-то из пациентов, и он догнал нас. Он влепил мне звонкую пощечину, судя по всему, причинившую ему такую же боль,

как мне, потому что его бульдожьё харю искази-
ла гримаса страдания.

Бакалейщица, мадам Товен (ее имя прорва-
лось сквозь годы, чтобы быть включенным в эту
фразу), была славной и совсем не злой женщиной.
Она не одобряла столь демонстративных наказа-
ний. Вера в человека заставила ее подарить мне,
насмёрть перепуганному ребенку, сладкого мяг-
кого мишку из белесого маршмеллоу в коричневой
потрескавшейся глазури. Мои родители, оскорб-
ленные ужасающим достоинством бакалейщи-
цы, целый месяц избегали заходить в ее лавку.
«Ты дорого за это заплатишь», — процедил мне
отец, когда мы уходили. Мать молча улыбалась.

В предчувствии того, что меня ожидало, у ме-
ня уже болело все тело. Погода на улице измени-
лась к лучшему; в лужах плоскими ожившими
масками отражались осколки неба. Все вокруг за-
ливал мягкий свет. Возвращение солнца и тепла
пробудило во мне желание читать, листать стра-
ницы учебника, оставленного на письменном
столе. Я смотрел, как наверху, задевая крылья-
ми синеву, кружат птицы. С завода вышла тол-
па людей. Нам встретилась крошечная болонка
в комбинезончике от дождя. Мне хотелось втя-
нуть в себя весь этот свет через соломинку, оста-
вив позади грязную бездну.

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаю свою признательность Жан-Люку Барре, подсказавшему мне идею этой книги.

Оглавление

I. Внутри	9
<i>Подготовительная группа</i>	<i>11</i>
<i>Первый класс</i>	<i>20</i>
<i>Второй класс</i>	<i>28</i>
<i>Третий класс</i>	<i>37</i>
<i>Четвертый класс</i>	<i>45</i>
<i>Пятый класс</i>	<i>53</i>
<i>Шестой класс</i>	<i>61</i>
<i>Седьмой класс</i>	<i>69</i>
<i>Восьмой класс</i>	<i>78</i>
<i>Девятый класс</i>	<i>86</i>
<i>Десятый класс</i>	<i>95</i>
<i>Одиннадцатый класс</i>	<i>103</i>
<i>Выпускной класс</i>	<i>111</i>
<i>Высшая математика</i>	<i>119</i>
<i>Второй год подготовительных курсов</i>	<i>127</i>

II. Снаружи	135
<i>Подготовительная группа</i>	137
<i>Первый класс</i>	146
<i>Второй класс</i>	155
<i>Третий класс</i>	163
<i>Четвертый класс</i>	172
<i>Пятый класс</i>	180
<i>Шестой класс</i>	189
<i>Седьмой класс</i>	198
<i>Восьмой класс</i>	206
<i>Девятый класс</i>	215
<i>Десятый класс</i>	223
<i>Одиннадцатый класс</i>	232
<i>Выпускной класс</i>	241
<i>Высшая математика</i>	250
<i>Второй год подготовительных курсов</i>	260

Ян МУАКС

ОРЛЕАН

*«Унижение, проникнув в нашу кровь,
циркулирует там до самой смерти;
мое причиняет мне страдания до сих пор».*

В своем новом романе Ян Муакс, обладатель Гонкуровской премии, премии Ренодо и других наград, обращается к непрерывной тьме своего детства. Ныряя на глубину, погружаясь в самый ил, он по крупицам поднимает со дна на поверхность кошмарные истории, явно не желающие быть рассказанными.

В двух частях романа, озаглавленных «Внутри» и «Снаружи», Ян Муакс рассматривает одни и те же годы детства и юности, от подготовительной группы детского сада до поступления в вуз, сквозь две противоположные призмы. Дойдя до середины, он начинает рассказывать сначала, наполняя свою историю совсем иными красками. И если «снаружи» у подрастающего Муакса есть школа, друзья и любовь, то «внутри» отчего дома у него нет ничего, кроме боли, обид и злости. Он терпит унижения, издевательства и побои от собственных родителей, втайне мечтая написать гениальный роман.

Что в «Орлеане» случилось на самом деле, а что лишь плод фантазии ребенка, ставшего писателем? Где проходит граница между автором и юным героем книги? На эти вопросы читателю предстоит ответить самому.



www.gorodets.ru

ISBN: 978-5-907358-23-2



9 785907 358232

25 ЛЕТ ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДОМУ
ГОРІОДІЄЦІ